

Письмо И. Н. Томашевской

19.1.64. Норинское

Дорогая Ирина Николаевна!

Более чем с месячным опозданием попробую ответить на Ваше письмо, которое сейчас взял и перечел. Попробую — потому что действительно ответить невозможно. (Да и вообще невозможно).

Тут все так складывалось, что был не в состоянии даже просто поблагодарить, не говоря уж о письме, для которого нужно хоть физическое равновесие. Теперь чуть лучше.

Все время — в „Крестах“, на пересылках, в Столыпине — все время я читал (позволили брать книгу) Вашу статью в томике Баратынского. Она, по-моему, действительно замечательна, лишена всякого бляения (как, впрочем, все, от Вас исходящее), а своим разделением (эпигр., элегии и проч.) Вы превратили его <в> классика (нужен чисто формальный прием), за которого его никак не хотят признавать. По-моему, теперь (1946-1964) все стало на свои места, и при переиздании следует настаивать на таком его виде. Вообще-то, наиболее трогательное впечатление <его> стихи производят вперемежку, но если будет академич. издание, нужно, чтобы он принял именно такой вид, какой придали ему Вы. <Знакомые (в письмах) поговаривают, что, м.б., пришлют мне машинку; тогда (во что бы то мне ни стало) напишу о нем статью и пошлю ее Вам, если хотите. (Если напишу). Столько неубитых медведей!.. — машинка, напишу ли, захотите ли. Медведей! Простите, Ирина Николаевна!>

Я живал по-разному и поэтому всем происшедшим не очень обескуражен. О причинах я и вовсе не думаю. По-моему, никто ни в чем не виноват. Видимо, слишком велико было мое аутсайдерство; но, должен сказать, от перемен оно не изменилось, во всяком случае, не стало меньше. Мне было очень плохо в тюрьме, но, очевидно, все переносят тюрьмы. В конце концов переносят. Да и, кроме того, всей этой истории предшествовали муки более сильные, так что я был как бы оглушен и многого не слышал.

Сейчас я работаю в совхозе. Иногда очень выматываюсь, иногда совсем легко. Знаете, под открытым небом, тучи, птицы и прочее. Недавно начал писать стихи. Вся история в том, что я никогда не старался ради чего бы то ни было конкретного. Моя самая главная цель, как я теперь понимаю, — звучание на какой-то ноте, глуховатой, отрешенной. Не знаю, как и сказать. Знаю только, что ни звонкой, ни убедительной, и еще какой-то она не будет. Вот ради этой „ноты“ и вся жизнь. И самые главные стихи где-то этого достигают. Поэтому теперь в писании превалирует компози<ци>я, а не экспрессия, эмоция. Я теперь скорее драматург, Ирина Николаевна.

К сожалению, сказанное почти никак не относится к тому, что сочиняю сейчас. Эти стихи — я пришлю как-нибудь — говорят, в общем, о какой-то заинтересованности в окружающем, чего на самом деле вовсе нет. Но они как-то связаны (нет, пожалуй) с действительностью. <Впрочем, в них действительность сомневается сама в себе — вот в чем дело (и, м.б., обаяние).>

Самое горькое — потому что всего остального я не помню, — самое горькое, что я не могу здесь писать свои главные стихи. Для этого нужна все же какая-то ясность, которая совсем невозможна <музу можно упрекать только в капризности>. Часть этих больших стихов я написал летом у Вас на канале, а часть осенью в Комарово. С тех пор силы земли (и неба!) на меня весьма ополчились, и только сейчас похоже на отбои (где тут плюнуть, чтоб не сглазить).

Простите, пож., устал: попозже продолжу.

Я никаких особенных надежд не питаю. Хорошо, если мне споловинят (статья половинится); тогда через 2,5 года дома. Но надеяться на это не приходится, потому что кое-кто не хочет уняться. В общем, с одной стороны, все очень плохо, но, с другой, стараюсь не думать об этом.

Как-то неудобно писать это, но я, видите ли, меньше всего литератор. Это правда. Поэтому вполне утешительные аналогии исчезают очень быстро (да и будь я литератором — было б то же самое). Поэтому-то мне иногда особенно худо. Дело ведь в том, что мне 24 года (24 мая!) и я еще мог бы стать, скажем, врачом (была такая тихая мысль).

Вы простите, что столько накатал: не сказав ничего. Нельзя сказать ничего — даже в разговоре, а тут еще эта мистика почты. И на душе очень переменчиво. Жизнь тут — песочные часики — только переворачиваются сами (сами живут). Простите всю эту болтовню.

Сейчас утро, надо идти куда-то в поле. Я никого не кляню и никого не виню — не подумайте. Просто сейчас тяжело. К вечеру будет легче, а сейчас вот так.

Большое Вам спасибо за шоколад, блокнот и — особенно — за травку. До Крыма теперь так же далеко, как до детства. И вот что я скажу Вам, Ирина Николаевна, напоследок: главное не изменяться, я сообразил это. Я разогнался слишком далеко, и я уже никогда не остановлюсь до самой смерти.

Все как-то мелькает по сторонам, но дело не в нем. Внутри какая-то неслыханная бесконечность и отрешенность, и я разгоняюсь все сильнее и сильнее. Единственное, о чем можно пожалеть, что мне помешают сказать об этом всем остальным, — не будет возможности написать эти главные стихи. Но даже тогда — в этом сожалении — я буду знать, что я чист перед Богом (и перед землею), потому что я поступал так, как это нужно было небу. В общем, — я ни в чем на свете не виноват — ни духовно, ни нравственно. В первом я не сомневаюсь, а второе сумел искупить. И это во мне говорит не гордыня, а смирение, но смирение гор перед небом. Хватит с меня. Горе должно рождать не грусть, а ярость, и я яростен.

Очень хотел бы обнять — крепко-крепко — Вас, Зою и Настика. Вы втроем и порознь — гораздо ближе мне, конечно, чем я вам. Но это — далеко, очень далеко. Настик будет здоровой девкой, когда вернется
ваш Иосиф.